

## «ЖИТЬ ХОЧУ...»

**П**осле уличного дневного света — в полутемной прихожей — Петрович сначала ничего не понял и потому послушно исполнил приказ хозяина: «Руки, руки давай! Ладони вверх!»

Он протянул ладони и почувствовал на них какую-то жидкость, которую хозяин прыскал, орудуя дозатором, переходя с ладоней на куртку гостя и даже на лицо. Уклоняясь от брызг, Петрович отступил к порогу и недоуменно спросил:

— Ты чего делаешь?

— Дезинфекцию провожу! Так положено.

— Какую еще дезинфекцию? Либо сдурел?

— Не сдурел, а так положено. Ты с улицы пришел, а там вирусы. — И через паузу, громко с надрывом: — Я жить хочу!

— Понятно, — ответил Петрович. — Вот и живи. Бери травку, тут — чабор, душица... — Он вынул из сумки пакет. — И будь здоров. До свидания.

Он вышел из квартиры, а потом из подъезда, но перед глазами стояло виденье: полутемная прихожая, приятель с «брызгалкой», его обрезанное старческой худобой лицо, нестриженные редкие космы, испуг, клекочущий голос: «Я жить хочу!»

Петрович повздыхал, поднес к лицу еще влажные руки. Пахло большим. Такая же гадость чуялась на лице. Слава богу, что в глаза не попало. Пришлось все вытирать платком. Но запах остался.

«Моим же салом меня же по мусалу, — определил он происшедшее. — Если боишься, зачем звал?»

Приятель вчера вечером и нынче утром звонил: «Будешь гулять, принеси, пожалуйста, чабреца, душицы... Холода подходят. От вируса бережемся, а вдруг еще — горло да сопля. А твоя травка всегда помогает. Я бы сам пришел, да сын не велит. Принеси, будь добр. Заодно чайку попьем, поболтаем».

Вот и поболтали.

Обрезая несладкие мысли, раздался звонок телефона. Приятель, вроде опомнившись, выговаривал:

— Ты чего ушел? Чайку бы попили, поболтали. Чего обижаться?.. Я как положено делал. По телевизору с утра до ночи говорят: надо беречься от вируса. Уничтожать его. Мне сын приказал: кто придет, сразу дезинфекцию делать. Хороший раствор мне привез, с запахом лаванды. А ты ушел, обиделся.

— У меня на эту лаванду аллергия, — сказал Петрович первое, что на ум пришло. — Так что давай переждем: отложим чай и все прочее до лучших времен.

Странно все это было, непривычно. «Я жить хочу!» Конечно, хотел он жить — старый человек, давний приятель. Но все равно вроде как-то не по-людски: вместо «здорово живешь» — дезинфекция, вонища.

Петрович еще раз понюхал, поморщился, а потом взгляд его упал на дворовую клумбу казачьего можжевельника. Он отломил веточку, растер в ладонях. Живительный хвойный дух сразу перебил вонь лекарственную. Можно было жить дальше, недавнее забывая. А желтая рябь листвы тополевой на зелени можжевельника напомнила, что в город пришла сухая ранняя осень.

Лето было тяжелым: какой уже месяц с самой весны ни капли дождя. А жара — под сорок. Земля — словно камень. Желтели травы, засыхали кусты сирени, скумпии. В сентябре прежде срока начался сухой листопад.

Високосный год виноват или все тот же коронавирус — кара Божия, — который гулял по стране с самой весны? Еще зимой стали по телевизору говорить про Китай. Там — эпидемия. Страшные картинки показывали, но убеждали, что нам это не грозит. Прочный заслон поставлен.

Но рухнул заслон. И пошло-поехало: сначала в Москве, а потом всех накрыло. Болели люди и умирали. Больницы полным-полны. Скорую помощь не дождешься: она двое суток ползет. Все закрылось: работы, школы, торговля. Ввели пропуска. Люди по домам сидели, прижухнув. Из окна поглядишь — мертвый город, пустые улицы. Словно мор прошел. Лишь светофоры неизвестно кому моргают.

Позднее, по теплomu времени, пропуска отменили. Старым да малым позволили в скверах гулять, но лишь в часы разрешенные. А остальному народу — работать. Но маски и перчатки остались, температуру у всех мерили, даже на рынке; дезинфекция везде и приказы: гурьбой не ходить, друг от друга подальше держаться. Потому что этот проклятый вирус никуда не делся. Он все лето косил и косил людей. А в августе пришла его вторая волна, которая оказалась хуже первой.

Седьмой месяц жили в этой напасти. И все вокруг в людской жизни менялось и ломалось неожиданно.

Вот он — простой пример: попросил человек чабреца и душицы принести. Поболтаем, говорит, чаю попьем. Ведь и вправду, наскуждали в квартирном затворе да в масках. Прежде по вечерам в парке гуляли, в гости друг к другу ходили, чаевничали, а то и по рюмочке выпивали, беседы вели — все как у людей, тем более старых. А теперь вместо приветов в морду брызжет какой-то гадостью.

И если подумать, такое везде.

Петрович уже полвека жил в когда-то заводском доме, который сами и строили всем заводом. Шло время, народ менялся: уезжали да помирали. Но какие-то знакомые оставались. Было с кем побеседовать, душу отвести. Особенно это стало нужно Петровичу после смерти жены. Вдовец в четырех стенах старому человеку несладко. Сын уехал далеко. Слава богу, дочь — рядом. Но у нее своя жизнь: семья, дети, работа.

Конечно, она по телефону звонит, в выходные приходит. Но главная для старого человека забота, отрада — это внуки. Прежде по будням Петровичу нужно было водить их на плаванье, шахматы и на танцы. Другое для него поручение — магазины.

Дочь приготовит список, Петрович все закупает, выискивает, где подешевле: на рынках да распродажах. Это было не в тягость пожилому, но крепкому еще мужику, порою — в радость. Особенно — с детворой. Он даже одно время в бассейне плавал вместе с внуком. А внучка Даша учила его танцевать.

Все это было и ушло. Весной школы закрылись и все другое, детское: танцы, бассейн, шахматный клуб. А стариков укоротили: из дома лишь с пропуском можно выйти на малый срок, в соседнюю аптеку да магазин. Только летом пришло облегченье.

Но что-то уже изменилось: в привычных местах, на дорожках сквера, где прежде было тесновато от народа гуляющего, теперь даже в часы вечерние не больнолюдно. Вроде попрятались и не осмелятся выйти.

Петрович своим давним знакомым на первых порах звонил, приглашая:

— Чего не выходишь? Ведь разрешили...

Одни отвечали уклончиво. Другие резали напрямик: «Мы с женой изолировались. Сидим в квартире и будем сидеть, пока вирус не кончится. Еду заказываем по интернету. К порогу подвозят. Загораем на балконе».

Многие на дачи уехали, пообещав до зимы не возвращаться. Дачи у Петровича не было. Ее продали, когда жена заболела. А одному «изолироваться», со стенами разговаривая да с телевизором, — с ума сойти.

В соседнем подъезде жил давний, еще по заводу, знакомый — большой говорун. Прежде с ним часто встречались на прогулках и в магазинах. Беседовали, вспоминая былое и сокрушаясь о нынешнем.

Но после строгостей карантинных, уже по теплу, первая же встреча на дорожках сквера оказалась странной.

Петрович издала признался соседу — хотя тот и в маске был — и поспешил к нему: давно не выдались. Сосед же, заметив Петровича, резко ускорил шаг, а потом в сторону свернул, издали сообщив:

— Я в магазин иду...

— Ну и я с тобой, тоже чего-нибудь погляжу, — попытался поближе подойти Петрович.

Но сосед, ускорив шаг, нырнул в проход между домами, на ходу объясняя:

— Я в другой магазин, в другой...

Петрович опешил, провозжая соседа взглядом.

Позднее объяснилось: «изолировался» человек. На волю, на прогулки, он выходил, спрятав лицо за большой черной маской, со знакомыми здоровался издали, взмахом руки, близко к себе не подпуская. На скамейке сидел в одиночестве. Поднимался и уходил, если его тревожили. А потом и вовсе стал выходить из дома поздно вечером, в темноте. Словом, «изолировался». А ведь говорливый мужик. Бывало, его не переслушаешь: детство любил вспоминать, молодость, работу — пел без остановки и пел. Теперь смолк. Лишь рукой издали помашет. И все.

Прежде на вечерних прогулках в сквере кучковался народ: на скамейках играли в шахматы, кружком собирались, обсуждая политику ли, футбол. Особенно мужики. Теперь это ушло. Хорошо, если вдвоем идут. Не более. Маски на лице уже без приказа носили. Здоровались не ручкаюсь, оберегаясь.

Да и как не беречься, если в конце лета болеть и умирать стали больше и больше. Больницы — под завяз. Туда и не попадешь. Разве что по знакомству или очень тяжелые. Остальные дома лечились. По телевизору с утра до ночи одна песня: сколько заболело и сколько умерло. Всякий день новый рекорд. И беречься, беречься велют: маски, перчатки да всякая дезинфекция. Но главное, повторяли: из дома не выходить. Особенно старым людям.

В радость ли такие прогулки? Бредешь, словно в чужом городе, полупустом. Не люди, а маски вокруг: белые, синие, черные... И чужие глаза — настороже.

Вот и нынче вместо дружеского привета в морду какой-то вонючей жидкостью брызнули.

Из тесного двора Петрович выбрался на волю, на просторную улицу. Здесь, на ветерке, лекарственная вонь вроде совсем развеялась. Но чувлось что-то горькое, которое, видно, попало в легкие — а может, и в кровь. И оставалось там. Хотелось продышаться, глубже и глубже набирая воздух и с шумом выталкивая его вместе с отравой.

Шедшая навстречу пожилая пара, хоть и в масках была, шарахнулась в сторону, упрекнув вдогон: «Маску надо носить!»

Маска была всегда при себе, в кармане, как и перчатки резиновые. Но этот наряд — для магазинов, в которые Петрович теперь редко ходил. Дочь с зятем управлялись сами. А себе много ли надо... Тем более что всякий день ему внушали, чтобы людных мест избегал, потому что не знаешь, где можно подхватить эту заразу. И, не дай бог, внукам принести. И без того редко приходилось теперь с ними видеться. Тонкая осталась ниточка. Если оборвется, будет и вовсе плохо.

В подъезде дома, на своем этаже выйдя из лифта, Петрович услышал щелчок замка соседней квартиры и по привычке остановился. Раньше, на площадке встречаясь, всегда разговаривали. Но нынче замок щелкнул, а дверь не открылась. Соседка — старушка бодрая, говорливая — явно смотрела в дверной глазок, ожидая, когда Петрович уйдет к себе. Это было тоже по-новому: опасались даже соседей. Не зря по телевизору с утра до ночи пугали и пугали. И вправду ведь, умирали люди. В третьем подъезде пожилая семейная пара чуть не разом ушла. Молодого парня из соседнего дома похоронили. Врачи в скафандрах во двор не раз приезжали. Но к кому, почему — толком никто не знал.

Так что опаску людей можно было понять. Но труднее принять, потому что позади была очень долгая живая жизнь. А теперь забились всяк

в свою нору и осторожно выглядывают. Или масками да перчатками прикрываются и машут, словно заразу отгоняя: «Я жить хочу!»

И лишь один человек в округе остался прежним. Его знали и звали «чернобыльцем».

Росточка невеликого, худощавый, со всеми и всегда приветливый: при встрече кланяется, кепочку снимает, улыбается:

— Доброго здоровья желаю... Давно не виделись. На земле теперь живу, на даче. Приехал своих проведать, на поезде. У нас, у чернобыльцев, бесплатный проезд. Привез картошку-моркошку, яблочек, груш.

Преклонного возраста, всегда одетый легко, с воротом нараспашку.

— Чернобылец я. К нам зараза не пристаёт. У нас рентгены, — объяснял он. — А еще — купаюсь по утрам. А потом тренировки, — смеется он. — Своя дача и соседские, пустые. Копаю, пропалываю, урожай собираю, сок гоню... Внукам на зиму. Сушу абрикосы, яблоки. Много всего. Старики стареют, молодым некогда. А я живу. Тихо, спокойно. Вечером на звезды гляжу. Это очень интересно. Собак да кошек подкармливаю. Бросаю их... Жалко. И своих домашних подкармливаю, сына да внуков, привожу картошку да моркошку, смородину да клубнику-малину. Сливы у меня хорошие, «анна шпет» и «белосливка», слаще сахара. Рюкзак нагружу, да еще ведро и сумку. Стараюсь помаленьку. В меру сил. И всех приглашаю, приезжайте. Разъезд Карповский. А там — пять километров пройти. Пустые домики есть. Можно жить. Выращивать в меру сил. И набираться здоровья. От болезней газетка «ЗОЖ» помогает. Коленки я вылечил. Врачи удивляются...

Он много всего рассказывал, человек приветливый, добродушный. Кто-то его «тронутым» считал, этого чернобыльца. И не хотел слушать. Тем более такое время настало, опасное. Тянется оно и тянется, а конца не видно.

А между тем незаметно в город пришла ранняя осень. Палящий зной, ночная духота, жаркие ветры — все это позади. На смену — бодрящая утренняя да вечерняя прохлада; ясные дни с мягким благостным солнцепекотом в полудне, когда так приятно понежиться на скамеечке в сквере.

Все ярче день от дня полыхают рдяным да алым цветом развесистые клены, понемногу осветляя яркой листвой просторные подножья. Желтеют березы, скупо роняя листву. А впереди еще — янтарный тополевый листопад. По утрам, после крепких утренников, он — словно тихий ливень. А среди белого дня при порывах ветра — даже метель закружит. Золотая сказка...

Это приходит осень, которую любят старики и дети. Теплая, долгая, южная осень. Черный хоровод воронья на стылом багровом закате еще далеко.

А вот школьные каникулы уже рядом. Целая неделя отдыха. Внук повзрослел, свои у него заботы. Но рыбачить по-прежнему любит. Можно по озерам пошарить. Там вода уже посветлела. Самое время щук ловить. Внук со спиннингом хорошо управляет: далеко бросает и леску не путает. Можно поехать с ним. А вот с внучкой Дашей просто гулять в парке, слушая милую детскую болтовню.

Так думалось. Но все пошло по-иному.

Позвонила дочь, спросила:

— Ты слышал о новом постановлении губернатора?

— Они много постановляют. Чего там еще?

— С сегодняшнего дня исключаются контакты пожилых людей с внуками, потому что у детей много контактов в школе, на улице. Дети переносят болезнь легко, иногда незаметно. Но заражают стариков. А это очень опасно. Ты понял?

— Понял, что много всего болтают. С утра до ночи.

— Папа... Слушай внимательно. Объявляется карантин строгий. Никаких контактов пожилых людей с внуками. Все это делается для твоей пользы. Чтобы тебя уберечь. Старайся никуда не ходить. Все, что надо, мы будем тебе подвозить. К порогу. Ты будешь забирать, дезинфицировать...

— Я — не лежачий. Дойду куда надо.

— Вот-вот... Ты и туда, и сюда дойдешь. А чего ты принесешь?

— Харчи.

— А еще заразу, болезнь. Ты думаешь — это шутки? Все больницы снова переведены на «корону». Санаторий «Ергенинский», все три корпуса, — на «корону». Детский лагерь «Орленок», ты знаешь его, — тоже весь под больных. Потому что мест уже нет. Подключили пять районных больниц и новую «инфекционку»... И все равно мест нет. И цифры, ты их запомни: семьдесят процентов смертей — это пожилые люди. — И через паузу: — Папа, будем выполнять предписание: никаких контактов. Это для твоей пользы, для твоей жизни. Если хочешь, наладим для тебя скайп. Будешь общаться по скайпу. Ты слышишь меня? Ты почему молчишь?

— А чего говорить, — с горечью ответил Петрович. — Ты все раздиктовала... Шаг вправо, шаг влево считается побегом... А я не боюсь ничего. Понятно? Возраст не тот.

— Понятно. Ты — смелый, — не сразу, со вздохом ответила дочь. — А вот я боюсь. За тебя боюсь. Ты у меня один, папа... — Голос дочери дрогнул: вот-вот заплачет.

— Ну ладно, ладно, — теперь он уже дочь успокаивал. — Поглядим, что получится... Я тебя понял.

На том разговор и кончился. Петрович и вправду почувал дочкину тревогу, боль. Он помнил, как тяжело и долго она переживала смерть матери. Потому что боится, верит всему. Хотя явно несуразной была очередная новость. Вроде уже ничем не удивишь, всякие строгости были: карантин, запреты даже на прогулку, пропуска, полицейские патрули, штрафы и, конечно, маски, перчатки. А теперь отнимали живое, кровное: родных людей, детвору — последнюю для стариков радость.

За окном была теплая осень. Но что в ней, когда на рыбалку с внуком теперь не поедешь; и с Дашей гулять не придется; а она так любит собирать осенние яркие листья, желуди в подножье дубов, еловые шишки. «Это мне для уроков, для трудов, — объясняет она. — Чего-нибудь будем придумывать, мастерить. Вот в прошлом году...»

Теперь только и останется прошлого года память. В книжном шкафу за стеклянными створками лепились друг подле друга фотографии внуков, дочери, сына. Красивые снимки, цветные. Но от них сейчас больше тоски, чем радости.

«Наладим скайп», — вспомнил он слова дочери. И сын упрекал в телефонных разговорах:

— Почему скайп не хочешь? Говорили бы, виделись...

— Там рожки какие-то кривые, страшные, — отнекивался Петрович. — Я тебя и так, по телефону, вижу.

— Как видишь? — не понимал его сын.

— Вижу — и все, — был ответ.

Он и вправду, когда разговаривал с близкими по телефону, прикрывая глаза, видел их лица.

Фотографий за створками шкафа было много. Но самая дорогая — в глубине, словно в укрытии от чужих глаз: портрет покойной жены.

— Вот так, голубушка моя, — сказал ей Петрович, подходя ближе. — Оставила меня сиротой. А здесь такое... Сиди как в клетке. Даже с внуками нельзя повидаться... Разве это жизнь? Это — казнь...

Он говорил и говорил, выливая душевную боль, потому что некому было больше пожаловаться. В долгой жизни после отца и матери не было человека ближе, родней жены. Даже по имени его называла только она. Для всех и всегда, в жизни взрослой, он был просто Петрович, потому что имя у него было необычное — Флегонт. Люди удивлялись и корявили: Флега да Фляга, а того лучше Фляжка. И потому с давних пор, знакомясь, он представлялся просто Петровичем. К этому привыкли.

И только жена умела называть его ласково: «Флеша...» А порой: «Флешенька...»

Даже теперь, через время, перед портретом жены всплывало порою в памяти распевное: «Фле-ешенька...» И как всегда, сразу становилось тепло на душе, а потом горячо, а потом хотелось плакать. Иногда он не сдерживался. Но сегодня вовремя увидел, что лицо жены стало печальным, в глазах — боль. Стало жалко ее.

— Ничего, голубушка моя, не расстраивайся. Как-нибудь доживу... Скайп обещают наладить. Будем по скайпу, по-современному, — успокаивал он жену. — Пойду сейчас погуляю. Погода хорошая. Помнишь, как мы с тобой на даче осеннюю пору любили. Полив кончился. В саду, в огороде все прибрано. Можно посидеть, отдохнуть. По грибы сходить. Ты же, голубушка моя, маслята жареные любила. И шиповничка набрать... Самая пора... — говорил и говорил он, доброе вспоминая.

Глаза жены потеплели. На лице — тень улыбки. Вот и слава Богу. Не надо ее тревожить. Она так долго и страшно болела. Натерпелась, голубушка...

— Погуляю, погуляю пойду, — попрощался он с женой. — А то ведь завтра запрут, как весной: пропуска, патрули, штрафы. И будем сидеть, куковать. Пойду провеюсь. Может, какие новости... — сообщил он.

Вечерело. В былую пору такое время — самое людное. Ни жары, ни надоедливой мошки. И дачный сезон — позади. Съехались в город.

Но это былое. Нынче — лишь мамочки с колясками. А вот старых людей, знакомых — привычных гуляльчиков — не видать. Бывшие городские начальники уже своим табунком не ходят, изо дня в день вспоминая былые подвиги. И говорливый газетчик Ефим с еврейскими анекдотами еще весной пропал: говорят, прячется в квартире, даже во двор не выходит. Не видно хромого мученика с одной и той же песней: «Все болит. А я приказываю себе: “Иди, гад, иди! Это полезно”». И давно не слышно бывшего лектора «политика» с приемником на ремешке. У того все новости: кто и сколько украл, кого посадили и на сколько. Прячется народ. Бережется. И простодушного чернобыльца давно не видно, не слышно.

Теплый вечер. Самое время гулять, неспешно беседуя. Но в сквере пусто.

Славный вечер. Аллеи молодых березок на речном откосе начали зо-

лотиться, терять листву, обнажая трогательно-нежную бель стволов. Там же, на склоне, дикие абрикосины светят алым нежарким пламенем. Розовеет вечернее небо. Смыкается тишина, в которой ни людского голоса, ни машинного гула, — непривычная для городской жизни и потому тревожная. Угрюмый покой, будто вечный, кладбищенский, полоняет округу.

А может, и впрямь пришла пора уходить, не клянча каких-то жалких остатков жизни. Когда-то мать-покойница твердо сказала: «Хочу умереть нынче осенью. Мочи нет. А осенью много цветов». Сказала и ушла. Цветы на ее могилке до морозов стояли свежими.

И теперь пришла теплая осень. А позади долгая жизнь, с которой не хватает силы расстаться. Но ведь пожито, слава Богу. И было все, что положено человеку за долгий срок. А теперь на самом краю — лишь жалкое прозябанье в четырех стенах, словно в тюрьме, в одиночестве и без обычных стариковских дел, которые прежде чередой тянулись: неспешные походы на рынки да в магазины, о хворях забота: сердце пошаливает, желудок болит, остатки зубов лечить; порой на рыбалку выбраться и даже иногда в санаторий съездить — так и текли день за днем незаметно. Теперь все отрезано.

Поликлиники вроде открыли. Но пошел туда и услышал: «Чего вы шляетесь? У нас везде вирус летает!» Пришлось развернуться. А в магазине чихнул ненароком, начали ругать: «Расчихался тут... Иди домой и чихай!»

А со дня завтрашнего и вовсе запрет. Даже с родными не повидишься. По скайпу, говорят, общайтесь. Разве это жизнь? Еда, туалет, диван, тревожный сон. Снова — еда, туалет... И нудное ожидание непонятно чего. Хотя, если по-честному, — одной лишь смерти.

«Ты свои годы считал? Ты в паспорт заглядывал?» — так нынешние врачи вопрошают. Грубо, но честно.

Вспомнилось. Где-то прежде читал об уходе из жизни северных людей, стариков. Кажется, эвенков, которые, поняв свой близкий конец, уходили в тайгу без еды и огня, чтобы умереть там в одиночестве и покое.

Может быть, так и надо. Не сидеть взаперти, дожидаясь конца не от новой болезни, а от своих прежних стариковских хворей. Подумать, понять и уйти. И где-нибудь в лесу или у воды спокойно и никого не тревожа окончить свой путь, вспоминая все доброе. Может быть, со слезами.

С такими мыслями прогулки — не в радость. И потому невольно ускоряется шаг: в магазин зайти, пока не запретили, и скорее домой.

Возле прозрачных стен и дверей большого продовольственного магазина и в нынешнюю пору не затихала жизнь. Нескончаемо шел народ, выбираясь на волю с полными сумками да тележками. А возле бесшумных дверей, как всегда, словно на посту стоял Сеня-монах, человек возраста неопределенного, зимой и летом в одном наряде: черный балахон и клбук с белыми нашитыми крестами.

— Во имя Господа нашего... Во имя матери Божией... — возглашал он негромко и обещал в ответ на любые дары: — Будем молиться о вас...

Черная большая собака молча лежала возле ног хозяина.

Сеня, может, и был когда-то монахом, но давно уже стал просто нищим, юродивым. У дверей магазинных кормился, где-то жил, просил подающие скромно.

Но сегодня Петрович еще издалека услышал его высокий клекочущий голос:



— Не прячьтесь! Лик, Господом данный, не оскверняйте! Не маски спасут, а молитва и покаяние! Господь — наше спасение! Не скрывайтесь за стенами от мира Божьего! От родных и близких! Нечистый вас туда засадил! К телевизору, к сатанинским рожам! Спасайтесь в молитве и работе!

Сеня-монах даже руки вздымал, призывая:

— На полях урожай пропадает! Картошка, лук, помидоры! Некому собрать урожай! Это сатана соблазняет! Не верьте! Не прячьтесь! Молитесь и работайте! Для себя, для детей ваших... Не просите куска хлеба у сатаны! Работайте и молитесь! Живите! Радуйтесь! И славьте Господа!

Пузырилась на губах у монаха пена. Голос срывался до сипа. Черный пес стоял рядом с хозяином настороженный.

Народ возле Сени-монаха не толпился. Но внимал, замедляя ход. Кладли милостыню, женщины крестились, какой-то старичок упреждал монаха:

— Ты дюже не шуми. А то еще заберут.

— Спаси Христос, — отвечивал Сеня. — Буду о вас молиться. Живите, радуйтесь. Господь нам подмога... — И снова возвысил голос. — Не прячьте лик, Господом данный! За стенами не укрывайтесь! Работайте и молитесь! Радуйте светлomu дню!

Уходя от магазина с покупками, Петрович еще долго слышал Сению-монаха, вздыхал: «Как бы и впрямь не забрали... Полиция ходит...»

Темнело. Думалось о своем, о дне завтрашнем, который доброго не обещал.

Вернувшись домой, Петрович решил проверить слова дочери о новых приказах. Ведь было похожее весной, а потом отменили. Может, не поняла дочь, а может, придумала, чтобы уберечь. Или уберечься?..

Но компьютер строчками на экране все подтвердил: «...только в случае необходимости, с девяти до двенадцати: магазин и аптека...» И главное: «Ограничить контакты детей и подростков с пожилыми родственниками...»

А пожилой родственник — это именно он — один в четырех стенах. А взамен родных и близких — телевизор, компьютер, радио, где нынче одно и то же: вирус и вирус... Сколько заболело да сколько умерло. В городе, в области, в России, в других странах, далеких и близких. Больничные палаты, морги... Здоровый человек от таких новостей захворает. А пожилой — тем более, когда его заперли, пусть и со всеми удобствами, но словно в камере одиночной, только что окна без решеток.

А срок изоляции ли, заключения ли у пожилых людей, похоже, пожизненный. Но короткий. Ниточка тонкая, держится на таблетках, которым счету нет. Они — от «сердца», от «желудка», от «головы», чтобы не кружилась. Да еще — «мочегонное» и «желчегонное».

В глаза старикам новые зрачки вставляют — искусственные хрусталики, в уши — слуховые аппараты. Чтобы глядел и слышал. Железные суставы — ногам подмога. Хромай, старче...

В Америке какой-то богач три ли, четыре ли сердца сменил, принимая немалые муки, но цепляясь за жизнь. А все равно недолго протянул и помер. Господа Бога таблетками не обманешь и деньгами не купишь. По-хорошему, если умом раскинуть, вовсе не надо глотать горстями таблетки. Восьмой, а у кого и девятый десяток идет. Прожили век. Другого не будет.

Но вот не верится, что конец жизни пришел. Хочется еще и еще... Даже немощным, в немалых хворях.

Ночь порою долгая — плото спитесь, утро тяжелое, поднялся разбитый, уже и свет не мил. Но проглотил таблетку-другую, чаю попил — и вроде оклемался. В окно поглядел: солнышко, тучки — уже радость. А если на волю выбрался, вовсе праздник. Утренняя прохлада голову освежит. Зелень деревьев и трав — глазам подмога. На скамейку присядешь. Рядом воробьи чирикают, синица тенькает, малая детвора щебечет — вот эта жизнь, с которой так не хочется расставаться.

И вполне возможно, что этот самый вирус — не наказание, но просто знак божий для старых людей: не цепляйтесь за дни последние, мешая детям и внукам.

А может, не Господь, а люди ученые по любопытству или приказу начальства этот «ковид» придумали и слепили, чтобы лишних людей убрать. Ходили такие слухи про Китай. А может, и наши додумались, чтобы выморить стариков.

В квартире, в четырех ее стенах смеркается прежде поры, если свет не включать.

Вечерняя усталость старому человеку голову тяжелит, просит отдыха. Но ложиться нельзя: заснешь, а потом ночь будешь маяться. Лучше в кресле расслабиться, прикрыв глаза. Но даже в такие минуты между сном и явью снова листается день прошедший. «Я жить хочу!» — надрывно кричит приятель и брызжет в лицо какой-то гадостью. А потом от дочери весть: «Никаких контактов...» И разговор с покойной женой; лишь она поняла его, пожалела. И он ее пожалел, не стал расстраивать. И Сеня-монах с его возглашением: «Не прячьтесь! Живите! Работайте! Урожай пропадает!» А следом уже из других, прежних дней простодушного чернобыльца речи: «Тружусь... В меру сил... Разъезд Карповский...»

Но все же пришел сон — короткий, глубокий, в котором отозвалась вдруг далекая память: село Карповка... Это — детство. Пионерский пеший поход и дневной отдых в селе Карповка, где помогали на бахче собирать арбузы...

Очнувшись, уже в яви, в комнатной полутьме Петрович отчетливо вспомнил далекое: как шли из города полевыми дорогами, а потом целый день провели в селе Карповка, на бахче, собирая арбузы, большие, полосатые. Их на телегу грузили. И тут же на бахче отдыхали, подкрепляясь арбузами с мягким деревенским хлебом. Алые сочные ломти арбуза и пахучий ноздреватый хлеб.

Когда на следующий день, продолжая поход, уходили из села, еще долго виднелись зеленый купол церкви и белая звонница. И долго-долго слышался колокольный звон, словно прощальный.

И сразу тут же в голове, от короткого сна посвежевшей, родилась ясная мысль: «Надо уходить». Доехать на поезде до Карповского разъезда, отшагать пять километров, о которых чернобылец говорил, и поселиться в каком-нибудь брошенном домике.

Уйти от постылого заточенья, масок, перчаток, карантина, постоянных речей и картин о вирусе, эпидемии, пандемии, смерти, людской настороженности и страха — иного здесь нет и не будет. У детей и внуков своя молодая жизнь. А он для их жизни — лишь больная заноза.

Надо уйти. На воле побыть, продышаться, от постоянного страха избавиться и пожить пусть недолго, но человеком, а не запуганной тварью.

Копаться в земле, с деревьями разговаривать, они добро понимают. Бездомного пса пригреть, и тот ответит теплым приветом. Ночью перед

сном на звездное небо глядеть вместо телевизора с его страшными новостями.

Пока еще осень, можно домику подладить: окна-двери, печка, дрова. Все можно сделать и спокойно жить, помаленьку отходя от нынешнего тяжкого бытия, конца которому нет. Для стариков уже точно.

Жить и жить. Ведь впереди — бабье лето и долгая осень, теплая, щедрая и добрая для всех живых.

## СТАРЫЙ ДОМ

Этот старый дом на хуторе Набатов с первой встречи понравился мне. По нынешним временам — незавидный: рубленый невеликий казачий курень, которому больше ста лет. Но рядом ветшают и валяются, ровняясь с землей, более молодые его собратья. А этот по-прежнему крепок. Зимой в нем тепло. Жарким летом за прикрытыми ставнями — прохладно. Дому более века, а на полах и потолке — ни щербинки, ни щелочки. Доски ровно подогнаны, полы настелены и потолки подшиты крепко, на долгий срок. Такие же гладкие стены, сложенные из бревенчатых тяжелых пластин. На стенах, потолке и полу — никаких следов краски, обоев и прочего; лишь рисунок текстуры дерева. И потому дышится в этом доме легко.

В прошлом году я жил в этом доме последний раз и потому снова и снова оглядывал его и сматривал, словно прощаясь. Дом вроде невеликий: даже не пятистенки, а сруб. Но внутри он не кажется тесным, потому что в его обиходе — ничего лишнего. Печка — для тепла и приготовления еды; кровати — для ночного отдыха. Возле печки на стене висит самодельная деревянная полка с нехитрой кухонной утварью. Рядом — невеликий стол, табуретки при нем. Над кроватями, в ногах — легкие жердочки, подвешенные к потолку на шнурах. На них — одежда выходная, в которой на базар ездят, в магазины станичные, в город. Чистая рубашка да брюки, блузка ли, кофта да юбка. На входе, возле порога, на стенке — крючки для одежды верхней. Вошел — снял, выходишь — надел. Это для повседневного домашнего быта. Одежда праздничная лежит в деревянном сундуке. Ее немного: платье, кофта, костюм парадный — это на всю долгую жизнь, потому что надевается очень редко, на свадьбу ли, похороны.

Зимняя будничная одежда хранится в другом сундуке, который стоит в темной кладовке. Там — телогрейки, полушубок, теплые кофты. В летней кухне да гараже — одежда вовсе затрапезная, рабочая: для огородных и скотных дел. У хозяина есть еще и рыбацкое: сапоги — забродни, — плащ с капюшоном.

Здесь же, в летней кухне, «стряпке» — дощатые посудный шкафчик да стол, изделие хуторского плотника. Они тут век стоят и еще будут стоять. В них — чашки-ложки, кастрюли, невеликие запасы муки да круп. Конечно, на кухне есть холодильник, плита газовая.

Когда я по дому ходил, видимо в последний раз оглядывая его да разглядывая, то невольно вспоминал иные жилища. К примеру, квартира моих молодых.

Когда внук Митя родился, я сказал: «Трехкомнатную купим квартиру. Пусть бегает». Купили трехкомнатную. Но вот с беготней не получилось. Мешает мебель. Она быстро размножилась. Даже поначалу свободный коридор со временем занял пузатый комод, а подле него какие-то

тумбочки обьявилися, пуфики. Про остальные комнаты и говорить нечего. Там плечом к плечу встали могучие шкафы да всякие шкафчики помельче. Когда-то хотел я для малого внука устроить в квартире спортивный уголок. Не получилось. Шкафы не пустили. А чего там, в этих шкафах? Сплошное тряпье, то есть одежда. Семья невеликая, три человека. Но целую роту можно обмундировать. Особенно женскую.

Такая же песня в квартире моих московских родственников, у которых я часто жывал. По трехкомнатной квартире ходить можно только боком. Шкафы и шкафы. Одежные, набитые до треска. Книжные от пола до потолка, они только на погляд корешков. Но главное, конечно, — одежда. В прихожей — шкаф, он — от стены до стены, от пола до потолка. Там куртки, шубы, дубленки, пальто и плащи на всякий сезон. Вдобавок — два одежных шкафа в комнате и в спальне. В них — костюмы, платья, рубашки, кофты, нижнее белье и постельное, которое часто меняется, согласно не возрасту, но моде: однотонное, цветное, махровое. А еще — на даче есть два ли, три ли шкафа, куда вывозится вовсе лишнее: дубленки, куртки, свитера, спортивные костюмы, рубашки. И все это — на двоих уже старых людей, у которых рука не поднимается лишнее выбросить. Но даже кое-что еще покупается из одежды. Особенно при заграничных поездках.

Но недаром говорится, что в чужом глазу всегда соринка видна. А вот в своем...

В доме хуторском у приятеля моего одежды — на скупой перечет: будничная смена из пары брюк да двух-трех рубашек. Когда что-то рвется, то поначалу чинится, а потом на тряпки идет и покупается новое, но без запаса. О праздничном и говорить нечего, оно — на век.

А вот когда я открываю свой платяной шкаф, оторопь берет: куда это столько и зачем? Костюмы, пиджаки, рубашки, брюки...

Конечно же — и слава богу! — не дожил я до коллекции из десятков костюмов, рубашек и прочего, оставаясь человеком очень среднего достатка и не великого, но ума. И все равно гляжу на свое одежное богатство со вздохом. Куда это и зачем накупалось? Парадное — хорошо, если раз в году надевается. Пяток рубашек — в ходу. А их уже полсотни, не меньше.

Вспоминаю, как в годы теперь уже давние приехал я в подмосковное Переделкино, убегая от летней жары.

Пошел прогуляться, встречаю человека вроде и знакомого, но не очень. Больно уж он парадный: костюм с иголочки, галстук. Поздоровался, дальше пошел. А он меня окликает:

— Ты чего? Заелся?

Я обернулся. И тут, глядя пристальней, наконец-то его признал. И попенял:

— А ты чего вырядился?

Обьяснил он со вздохом:

— Понимаешь... Открыл я шкаф, одежный. Поглядел. И подумал: скоро помру, а тряпок — море. Костюмы, рубашки. Откуда и набралось. Надо поносить хоть что-то. Вот теперь каждую неделю — новый облик. Жена глядит подозрительно. Ты и вовсе не признал.

И вот теперь, открывая свой гардероб, я вспоминаю покойного уже приятеля и думаю: «Не начать ли и мне парадные выходы?» Но как-то не хочется людей пугать.

И это — лишь городской гардероб, а еще в поселке в шкафу тоже висят рубашки, пиджаки, брюки. И там же, в гараже, в огромном сундуке

хранится походная одежда, рыбацкая, летняя да зимняя, вплоть до полушубков да огромного тулупа.

И все это — на одного человека. Подумаешь — страх берет.

А ведь тряпичником ли, щеголем я никогда не был. Казалось, по нужде что-то покупали. Теперь вижу: не всегда по нужде.

Про посуду и всякие стекляшки особый сказ. Ведь в каждом доме за прозрачными дверцами шкафов — парад хрусталей: рюмки, фужеры, бокалы, конфетницы, салатницы... И конечно, сервизы: чайные, кофейные, обеденные. На шесть персон, на двенадцать. Немецкий, чешский фарфор, на худой конец — наш. Мельхиор или серебро. Все это покупали за немалые деньги. А в обиходе — обычная простая посуда. На сервизах — многолетняя пыль. Потому что всякие торжества теперь отмечают в кафе да ресторанах. Так проще, удобнее.

Вспоминаю, как гостил недавно у родственников. Живут они в достатке. Часто бывают и даже живут за границей. Навезли всякого. Из Италии — стекло венецианское, из Чехии — богемское, из Германии... из Англии... Помню тарелки ассиметричные, новомодные.

Но вот недавно приехал, садимся к столу. Хозяйка говорит:

— Я в разовую посуду буду накладывать. Удобней. Поел да выбросил. Не канителиться с мытьем.

Все верно: посуду «разовую» можно после обеда выбросить. А вот как с остальным, которое в шкафах да буфетах?

Однажды, зайдя к своим и увидев в прихожей большую сумку, спросил я:

— Кто куда ехать собрался?

— Это выбрасывать приготовили, — ответила невестка. — На той неделе два мешка выбросила. Вчера еще набрала. Всякое старье.

По любопытству возрастному открыл я сумку. Там — свитера, кофточки, по виду новые. Забрал я эту сумку, сказав: «На хутор увезу». А у себя дома все перебрал, удивляясь и охая: женская куртка — приглядная, новенькая; два тонких шерстяных свитера; красивая, в узорах кофта — все будто с иголочки.

Позвонил, спрашиваю:

— Лишнего не положили в эту сумку? Ведь новое все.

— Из моды вышло, — услышал в ответ.

Все я понял. А вот принять труднее.

В той жизни, которую прожил, особенно в начале ее, любая одежда носилась до полного износа. На локотках, обшлагах, вороте она штопалась, латалась. Тетя Нюра у нас была умелицей: тонкой иглой, нитку подберет нужную. Заплата получалась словно влитая, а штопка незаметная. От старших одежда к младшим переходила. Ношеное лицевалось, то есть обратной стороной выворачивалось. Помню, в третьем ли, четвертом классе новые штаны мне пошили из старой лицованной материнской юбки. В школу я пришел гордый, счастливый.

Даже в шестидесятые годы, в институтские, моему товарищу отец отдал свое старое драповое пальто. Чтобы перелицевал и носил. Хорошее пальто получилось. Всем на зависть.

Такая вот память у нас, людей много проживших.

Сумку с ненужными, из моды вышедшими вещами я при случае на хутор забрал. Катерина, супруга моего товарища, только охала, разглядывая привезенное.

— Может, бабе Кате, — подсказывала я. — Или бабе Ксене? Или Шахманам?

— У всех сундуки набитые, — вздыхала Катерина. — Из города дети везут и везут. И сундуки, и чуланы полны. Уже некуда девать. Выбрасывать не привыкли. Может, еще пригодится.

Старые люди — это долгая память о годах тяжелых, послевоенных. На ногах — чирки из брезента или сыромятной кожи. Штаны да юбки из колючего шинельного сукна, мешковины, колом стоящей, плащ-палаточной или белой мягкой парашютной ткани. Последнюю красили порохом из сигнальных ракет. Ярко-красная получалась юбка.

Все это — с полей войны, из блиндажей да окопов, которые рядом. Слава богу, хоть такая одежда. Голяком не будешь пахать, сеять, за скотиной ходить. Иногда к празднику на общем собрании кого-то награждали за ударный труд отрезом штанной материи — «на юбку» или «на кофту». Такие вот мысли над сумкой с вещами ненужными.

Повздыхали мы, прошлое вспоминая, но содержимое сумки все же распределили.

— Свитера и платье в Иловлю передам, племяннице. Семья там большая, — рассудила Катерина. — А кофту сама буду носить. Тепленькая... И красивая, — призналась она, смущаясь.

Время прошло. Нет уже Катерины, милого человека, которая была душой этого дома, привечая гостей. Теперь дом опустел и остыл без ее живого тепла. И сюда уже не хочется ехать.

Потому и прощаюсь: хожу да брожу по дому, все разглядывая да обглядывая, словно впервой.

Кухонный стол, табуретки, низкая скамеечка, чтобы возле печного зева не вприсядку, а удобно сидеть, затапливая печь да дровишки подкладывая. Легкая скамеечка, но прочная: не качнется, не скрипнет, как и все изделие хуторского плотника Трофима Кулюки. И это, считай, через век.

Гляжу я на эту простую скамеечку и вспоминаю, как у моих московских родственников раз за разом выбрасывалась, выставляясь из квартиры во двор, сначала мебель простая, нашенская, а потом и модная — кажется, немецкая. Сменила ее мебель, сделанная на заказ в Италии.

В ту летнюю пору я гостил у этих родственников на даче, вдали от Москвы. Место было славное: сосновый лес, Волга, ухоженная усадьба с зеленым газоном, деревьями и морем цветов. Одних только роз — не перечесть.

И вся эта красота для троих: хлопотливая хозяйка, ее малая внучка да я — недолгий гость. Хозяин приезжал из Москвы раз в неделю, всякий раз привозя внучке гостинцы да игрушки. Но главным подарком для малышки был он сам — «мой любимый дед». Весь субботний день они проводили вдвоем, не расставаясь. Славная это была пара: большой грузный дед и малое дитя. Они — рука об руку — ходили да бродили: в соседнюю рощу, на берег Волги. Звенел и звенел голосок девочки, дед лишь поддакивал ей: «Молодец... Умница... Моя золотая...»

Вечером, провожая день, они отдохали на большом камне-валуне, что лежал возле дома. Девочка прижималась к деду и задремывала. Но уходить не хотела.

В день воскресный они расставались со слезами: «Не уезжай, дедушка... Не уезжай...»

Уезжать дедушке, конечно, не хотелось, но — работа... В ту пору он

уже получал довольно большую пенсию и вдобавок неплохой запас имел на безбедную старость. Но... «Деньги большие пошли», — признавался он.

Как раз в эту пору заказали мебель в Италии: красивые кресла, диван, спальня и прочее.

Какое-то особое дерево, натуральная кожа. А еще — в Испании дом купили. Все это, конечно, недешево обходилось.

Но скажите, где и за какие деньги можно купить лучистое сияние любящих детских глаз, тепло хрупкого тельца, к тебе приникшего?.. Все это могло быть изо дня в день, из часа в час, но мимо прошло и никогда не вернется.

Нынче эта девочка уже повзрослела, учится в седьмом классе, с дедом и бабушкой видится редко. Она даже летом не хочет к ним на дачу ехать, хотя там лес, Волга, зелень, цветы. «Какая-то клизма выросла», — жалуется дед.

Нынешние письма мои — вовсе не ворчанье старого человека в печали о прошлом. Слава богу, войны нет. А значит, и горького сиротства. Но не пришло ли сиротство иное?

Разговариваю по телефону с внуком, справляюсь:

— Папа дома?

— Нет. Еще на работе.

А на часах — восемь. Стемнело по-осеннему. Приедет усталый. Поужинает — и спать.

Товарищ мой жалуется на своего сына:

— Разве это жизнь? К восьми на работу уезжает; ночью в десять, в одиннадцать возвращается. Выходные — тоже на работе. В отпуске три года не был. Я его ругаю: «Дети у тебя растут. А ты их не видишь. Разве так можно?» Он мне в ответ: «Я для них и работаю. Стараюсь, чтобы не хуже других...»

Конечно, хочется, чтобы не хуже. Особенно во времена нынешние, когда все можно купить: хорошее жилье, красивую мебель, дорогую одежду, шикарный отдых в каких-нибудь южных странах. Были бы деньги.

В поселке нашем давно уже нет для людей работы. А какая осталась — платят за нее мало. И потому все — в разбег. Один из моих соседей в Якутии трудится, другой — на Ямале. Два ли, три месяца на вахте. Короткий отдых — и снова улетели. У приятеля зять — в Питере; он хороший сварщик, корабли строит. Песня та же: три месяца — в отъезде, неделя — отдых в семье. Приятель хвалится: «В квартире шик-блеск навели. Новую мебель поставили».

Питер, Москва, Якутия, Ямал... Даже в Антарктиду на целый год уехал молодой мой земляк. Когда вернулся, сынишка отца не признал: боялся, прятался. Потом вроде привык. А отец, передохнув, снова туда же отбыл, на Южный полюс. Там хорошо платят.

Когда-то в послевоенные годы мы, мальчишки-сироты, мечтали: «Был бы отец живой... Он бы лодку сделал, сетку связал... Ловили бы рыбу... Он бы ружье купил... Ходили бы на охоту зайцев, куропаток стрелять... Он бы работал, зарплату получал, купил бы мне велосипед...» Детские мечты... Сиротские.

Нынче, слава богу, войны нет. Нет и голода. Даже при нашей невеликой поселковой зарплате. Одеты и обуты дети и взрослые. И убогих мазанок да землянок — жилья послевоенного — давно уже нет. Машинами обзавелись. В день воскресный к рынку ли, к большим магазинам не

подदेशь. Работают люди, живут. Ездят отдыхать на море да на целебные воды — и много дальше: Турция, Египет, Индия, Таиланд...

А я вспоминаю иное.

— Папу упрошу, — говорил тогда еще малый мальчонка. — Поедем с ним на Дон, поставим палатку, поночуем...

Один год говорил, другой:

— Поночуем, костерик разведем... Упрошу папу...

Они иногда выезжали выезжали на природу всей семьей с теми ли, другими друзьями. Обычное дело: отдых, выпивка, гитара, шум и гам.

Мальчонке, видимо, хотелось иного: лишь — с папой, вдвоем, возле костерика поночевать.

— Рыбы наловим. Будем уху варить... Я папу упрошу...

Не упросил. Не удалось поночевать у костерика с папой.

А теперь мальчик вырос. У него другие заботы, которых взрослым не всегда понять. Вроде бы сыт и одет, в тепле и уюте живет. Чего еще надо?..

Старый дом на хуторе Большой Набатов. Нынче я с ним прощаюсь, словно бы с прежней жизнью. Хожу да брожу в одиноких раздумьях: светлых и горьких.

Время вечернее. Выхожу на крыльцо. Солнце садится за высокую меловую гору. Над безлюдным хутором смыкается тишина. Туманится степная охолмленная даль. Пресная речная прохлада наплывает волнами.

Солнце ушло за гору, на прощанье одаря дивным закатом. Полыхало полнеба. Нежная алость, густая желтизна, багрец, чистая прозелень с темной, фиолетовой тучей понизу, у земли. Высокие малые облачка сияли розовым; далекие воды реки отвечали небу нежной бирюзой.

Вечерняя заря светила по-осеннему недолго и погасла. Над курганом за речкой проклюнулась первая звезда. Через час-другой, когда землю накроет тьма, небо засветит, а к полночи запылает звездным огнем. Из края в край протянется Млечный Путь — вечная наша дорога из тьмы во тьму. По ней уходят. И не возвращаются.

Сколько я пожил, сколько видел этих закатов, восходов, светлых дней и звездных ночей. В просторной степи, чаще — на речных берегах. И всякий раз словно впервые. Там — самые светлые думы, там — утешение горьких мыслей, там — неспешные беседы, тепло земное и человеческое.

Недаром малому мальчонке так хотелось поночевать с папой у костра, возле тихой воды под звездным небом. Видно, душа просила: «поночевать», поговорить. И долго помнить.

Не получилось. У отцов работа, работа... Чтобы жить «не хуже других»: мебель, шкафы с хрусталами, гардеробы, набитые одеждой, часто лишней. И конечно, машина.

Но все это не с неба падает. Все это — труды, и труды нелегкие; часы и дни не больно долгой жизни. И всегда ли мудрой, если на исходе ее приходится, вспоминая, о многом жалеть. Хотя бы о том, что в свою пору не поехал с малым тогда сынишкой поночевать у воды, у костра. Где-нибудь на Голубинском острове, на Бурунистом, Скитах или возле Набатовского хутора, который приютил меня ныне.

